

выносим. И тогда я или их оставил вдвоем, или просто «прекращал сессию», потому что это было уже невозможно: он становился вдруг дико пошлым.

Но меня он любил, главным образом, за то, что у меня была в ту пору еще хорошая память. Сейчас она мне уже несколько начинает изменять по причинам возрастным, но в ту пору у меня была действительно великолепная память, я очень хорошо знал русскую поэзию, особенно 20-х годов, которую он просто совсем не знал. Потому что он в 20-е годы уехал и, значит, вот этот самый промежуток, 20—40-е годы, он просто пропустил. Он не знал Мандельштама. Он вообще даже не знал такой фамилии — на Западе она не появлялась. Ну, он не знал еще многих — не знал Зоргенфрея... В общем, многого не знал. И он меня заставлял ночами ему читать эти стихи.

В общем, к нему относятся как к такому салонному певцу. А это значительно серьезней — то, что он делал. Это иногда пошловато-эстрадно, — потому что у него был, так сказать, «заказчик». Он работал на этого «заказчика» очень точно. Но он был при этом все-таки абсолютно первоклассным художником. Просто первоклассным! Вот когда нам говорят, что Франция научила, что такое жанр «шансонье», то я думаю, что после Беранже, вероятно, самая великая фигура был Александр Николаевич Вертинский. Это человек, который выразил свое время поразительно! Хотя он писал как будто бы такие пошлые сочинения, но он был замечательным поэтом. Просто замечательным поэтом, замечательным мастером! То есть не поэтом — тут уже есть какое-то, как говорят сейчас научно, синкретическое творчество. Понимаете?

И вот сегодня, сидя дома, я поставил себе пластинку, которую напел Мулерман там, и так далее. У них хорошие голоса, у них прекрасный аккомпанемент... Но это все одна и та же песня одними и теми же голосами. Она не несет в себе ничего: ни эстетического, ни этического, ни нравственного, ни эмоционального, ни информации — ничего! А потом я поставил пленку, где у меня записан Володя Высоцкий, Булат, Ким... Естественно, не записан я, поскольку, так сказать, ну что ж я буду сам себя писать? (*Смеется.*) Я подумал: все-таки это, во-первых, поэты; во-вторых, индивидуальности; в-третьих, каждого из них можно сразу и отличить... Там — я не могу отличить, кто поет: черт его знает, Зыкина это, Власенко... Ну, все поют похоже! Одни поют ядовитыми русскими языками, другие поют, так сказать, ядовитыми западными языками, с придыханием — но все равно: очень неинтересно!

Об А.Вертинском и П.Лещенко

В 1989 г. в еженедельнике «Неделя» (№ 43, с. 19) американский литературовед Г.Поля напечатал воспоминания о Вертинском «Прощальный ужин», написанные Галичем собственноручно в год своей гибели. Перед вами — более ранний (1972) рассказ, существенно дополняющий опубликованный.

...И мы с ним подружились, стали довольно часто видеться, особенно по вечерам, — он приходил после концерта, и я приходил после работы...

И вот как-то раз однажды был такой случай. Я только что вернулся в номер — он мне по-

звонил и сказал: «Александр, что вы делаете?» Я сказал, что вот только что вернулся. Он спросил: «Вы уже ужинали? Пойдемте поужинать». Я сказал: «С удовольствием!» Мы поднялись на крышу, поскольку было лето и главный ресторан «Европейской» был на крыше. Пришли, сели за столик, я заказал себе какую-то еду, довольно обильную, с водкой, естественно. Александр Николаевич заказал себе стаканчик чаю и бутерброд. И мы стали с ним беседовать.

Во время беседы к нам вдруг подлетела какая-то дама чрезвычайно пожилого возраста и сказала: «Боже мой! Александр Николаевич! Как я счастлива вас видеть! Я была на вашем концерте. Я в таком диком восторге! Но видеть вас лично — это для меня совсем огромное счастье!» Александр Николаевич встал — он был человек чрезвычайно куртуазный, — сказал: «Бога ради, пожалуйста, может быть, вы сидите с нами?» Она сказала: «Нет, нет, я — с компанией. Но для нас это такое счастье! Все эти годы мы та-а-а-а жадно ловили все ваши песни, которые доходили к нам из-за рубежа! Для нас ваши пластинки, пластинки Лещенко — это...»

И вдруг я вижу, как у Александра Николаевича сильно меняется лицо, и он говорит: «Пгостите, кого?» Она говорит: «Ваши пластинки, пластинки Лещенко...». Он говорит: «Пгостите, Бога ради, но я не знаю такого поэта. Среди моих друзей были Рахманинов, Бунин, Шаляпин, Стравинский... Такого друга Лещенко у меня не было, и я о таком не знаю. Извините меня, мы беседуем». Он уже не предлагал ей сесть, и дама чрезвычайно сконфуженная отошла. После чего мы с ним еще посидели, потом я попросил счет.

Очень пожилой официант подошел, спросил: «Как вы будете считать — вместе?» Я сказал: «Естественно, вместе». Александр Николаевич сказал: «Естественно, отдельно». Он посчитал, мне сказал, что... ну, по тем временам, рублей на двадцать пять я наел. Я ему дал тридцать пять рублей — он даже почти не взглянул в мою сторону, просто сунул их в карман. Александр Николаевич взвел на нос очки и долго изучал счет. Там было что-то на три двадцать пять. Он открыл кошелечек, выложил три рубля двадцать пять копеек, потом подумал, вспомнил, очевидно, как полагается в Париже платить (десять процентов чаевых), еще отсчитал тридцать две копейки, потом подумал, добавил три — отсчитал тридцать пять — и протянул ему. Официант все это взял, и мы пошли к себе в номера. Александр Николаевич пошел немножко вперед, я пошел сзади. И вдруг официант догоняет меня, придерживает меня за рукав и совершенно молитвенным шепотом говорит: «Хто это был?» И, вы знаете, я тут понял смешную истину: в общем, для него мои шпанские деньги, моя десятка — Господи, он на них чихал, он их в вечер получает столько!.. Но — вот был человек, который знал цену деньгам, понимаете? Человек из той жизни — из той, которую этот старик-официант еще помнил. Человек той закваски. Это его пронзило. Он не знал, кто это такой, не знал, что это, там, Вертинский, но он понял что это был — хозяин, это был человек, который все знает, понимаете? Человек, которому надо служить, а не так вот швырять, как мне.

Вот такой смешной у нас с ним был один из последних наших вечеров. Потом он уехал, и

мы с ним виделись уже в Москве, встречались, но уже редко. И, к сожалению, до его смерти так нам с ним как следует снова вместе, вдвоем посидеть не удалось.

Об А.А.Ахматовой и «выражениях филологии»

Поскольку в моих песнях часто говорю не я, а персонажи, а они по-другому изъясняются не умеют, будут встречаться разнообразные выражения. Ну, по этому поводу есть прекраснейший рассказ у Лидии Корнеевны Чуковской. Она вспоминает о том, что они как-то сидели втроем: Анна Андреевна Ахматова, Лидия Корнеевна и пьянькая Ольга Берггольц. И Ольга Берггольц начала очень активно выражаться. Лидия Корнеевна стала ее останавливать. Тогда Анна Андреевна так положила руку и сказала:

— Ну что вы, Лидочка, пускай говорит — мы же в конце концов филологи.

Вот, значит, я прошу всех к этим выражениям относиться как к выражениям филологии.

О Норвегии

Из России Галич как беженец в июне 1974 г. выехал в Норвегию.

Я попал в эту страну как пилон-кинематографист много лет тому назад — в шестьдесят первом году. Я ничего еще не сочинял. Вернее, я сочинял ужасные сценарии и очень плохие пьесы. Нет, я сочинял в то время уже и хорошие пьесы, но хорошие мои пьесы запрещались, они не ставились. Но я был вполне модным и благополучным кинематографистом. И в числе небольшой группы мне довелось поехать в Норвегию.

Я вам должен сказать, что там была мистика. Если у вас есть пленка, то тогда я немножко расскажу о мистике.

В общем, я человек довольно покладистый и легкий, но иногда у меня бывают тяжелые периоды, когда я сам себе не рад, а уж тем более не рады окружающие... У меня было очень трудное лето. И вот однажды я шел в рассуждении сильно выпить. Шел я по Арбату. А на Арбате еще тогда существовал тот самый комиссионный антикварный магазин. И вот у меня было пятьдесят рублей — в то время это было совсем немного, это не нынешние: это — пятерка была. Ну, в общем, так, купить свои поллитра и уйти домой с этой поллитра у меня была полная возможность. И я вдруг зашел — и увидел такую маленькую пельменьницу. И чем-то она мне показалась необыкновенно прекрасной. Я не знаю, что меня в ней пронзило. Она была черненькая такая, невидная из себя. Но что-то мне показалось необычайным в этой пельменьнице. Она стоила четыре рубля семьдесят пять копеек. Я думаю: что же мне делать, братцы? Потом я решил: ну, кто-нибудь мне поднесет, в общем. Чего там — приду, помолюсь кому-нибудь, поплачусь... Куплю-ка я себе эту пельменьницу! И я ее купил. Купил, поставил на свой стол и долго «облизывал». Она была от руки расписана, там было написано что-то... И — фамилия какого-то еврея, типа Стовангер. Вот он, значит, расписал это дело от руки. Там была такая символическая рыба написана. Больше ничего. Прошло время, я уехал... И потом вот случайно я попал в Норвегию. Мы приехали в Осло, нас было пять человек.

И началось все прекрасно. Это очень старомодный, прекрасный по старомодности го-

род. И вот первое мое впечатление было такое. Мы поехали за город, на киностудию. Мы ехали мимо вилл, которые стоят вдоль дороги. Заборов там нету. Заборы только у кинозвезд: у Биби Андерсон, которая живет в Норвегии, а не в Швеции, — вот у нее есть забор. А у остальных заборов нет. Но у них стоят такие высокие лавки. В общем, я, человек немаленького роста, подумал, что мне бы надо было подпрыгнуть для того, чтобы сесть на эту лавку. И я спросил у нашего сопровождающего: «Что это за странные высокие лавки?» Он сказал: «Ну какие же это лавки! Это не лавки — это лотки, — сказал он. — Утром хозяйки выносят, там, конфеты, остатки тортов с ужина или фрукты, которые поспевают... Дети идут в школу — они могут это брать». Зачем же им лавки! Вот это было — Норвегия. С этого началось для меня ощущение Норвегии.

А потом нас повезли на юг через город с еврейской фамилией Стовангер — в Берген. И я выяснил, что просто Стовангер — это город, где делаются эти пельменьницы и вся эта замечательная керамика.

И потом я увидел Берген — я увидел могилу Грига, на которой написано не так, как написано у нас на памятниках Гоголю («Гоголю — советское правительство», — выяснилось, что, значит, только они имеют взаимоотношения с этим писателем). А там — такой фиорд у дома, и над этим фиордом в скале покачивается гроб. Он так немножко покачивается на цепях, потому что там всегда с фиорда дует ветер. И на нем просто написано: «Григу — Норвегия».

И там еще — нет уличного движения, там просто ездят все как попало. Но раз в день — в три часа дня, когда расходятся школы, — происходит следующее. Какая-нибудь книпса курносая выходит... Они все очень смешно одеты — они как гномики, тролли: у них такие колпачки, такая очень яркая, интенсивная одежда! Какие-нибудь синие штаны, красные свитера, белые сапожки резиновые... Вот такая выходит — у нее церемониймейстерская лента через плечо — и останавливает движение. И все машины стоят как вкопанные. Это расходятся школы. Так все дети Осло бегут домой.

Вот такая эта страна. И я хочу в ней жить.

Я подумал, что, действительно, эта страна, такая маленькая, прижатая к морю, такая узенькая полосочка, полумесяц, три с половиной миллиона населения, — дала миру Ибсена, Гамсуна, Нансена, Грига, Торвальдсена... Что-то было в этой стране такое, в самой ее сути...

Там еще была очень занятая история. В Бергене — замечательный музей живописи. Восхитительный совершенно! Он ни на что не похож, потому что норвежцы — к стати, почти, как англичане, — очень мало давали репродуцировать своих художников. Когда я был в Лондоне в «Тейт-галери», то, когда вошел в зал Тернера, я понял, что мы просто не имеем понятия, что это за художник. Величайший, гениальный художник! Это ни на кого не похоже — Тернер. И Уистлер ни на кого не похож. Хотя он стал наполовину американец, наполовину англичанин, но большинство его работ — там. Но Тернер — совершенно непохожий, просто нельзя представить себе, что это такое! Это чудо совершеннейшее!.. И вот у норвежцев такой же музей в Бергене — художников, имен которых мы вообще не знаем, потому что их работы не про-

давали, не репродуцировали — никогда. И это — волшебные художники!

Мои кинематографисты не пошли, естественно: они народ культурный — чего им в музей ходить! Они свое дело знают — они пошли «шопингом» заниматься. А я все-таки, как дурак (*смеется*), пошел в музей. И вот я хожу по этому самому музею с сопровождающим — мы с ним ходим вдвоем, — и я вижу портрет безумно красивой женщины. Такая прекрасная курносость, такая волшебная золотоволосость — ну просто прелесть! Я спрашиваю: «Что это такое?» Он говорит: «Портрет актрисы». — «Какой актрисы?» — говорю уже с тайной мыслью: не познакомиться ли. Мы же придем в Осло — скажу: «Человек из Советского Союза желал бы...». Он говорит: «Да просто «Портрет актрисы»». — «Ну, как фамилия актрисы?» — «Мы не знаем». Мы потом с ним ходим, ходим, ходим по музею. И уже я с ним прошуюсь — он мне дарит на прощанье каталог. Я — при нем же — открываю на этой странице, смотрю: «Портрет актрисы», да». Он говорит: «Вы знаете, херр, а портрет раньше назывался иначе, он сейчас называется так». Я спросил: «А как он назывался?» — «Он назывался «Портрет госпожи Гамсун»». Я говорю: «Ах, вот как! А почему же его переименовали?» Он: «Ну, в общем, вы знаете, что мы все послали ему его книги обратно на его мызу, когда он стал гитлеровским... Он, конечно, был старый человек — не надо его так строго судить! Но для того, чтоб не было вот таких лишних вопросов, мы переименовали этот портрет».

Значит, эта маленькая страна, у которой есть великий — просто Великий! — писатель мира, они стесняются, потому что он немножко чего-то не так сделал, понимаете? А мы вот сейчас печатаем речь Шолохова к избирателям, туды его мать! Но — не надо меня возвращать на землю (*смеется*).

Об эмиграции

Этот фрагмент был записан во время прощальных посещений дружеских домов непосредственно перед отъездом на Запад.

...Мне все-таки было уже под пятьдесят. Я уже все видел. Я уже был благополучным сценаристом, благополучным драматургом, благополучным советским холуем. Я понял, что я так больше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду.

Кончилось это довольно печально, потому что, в общем, в отличие от некоторых моих соотечественников, которые считают, что я уезжаю, я ведь, в сущности, не уезжаю — меня выгоняют. Это нужно абсолютно точно понимать. Добровольность этого отъезда — она номинальная. Она фиктивная добровольность. Она, по существу, вынужденная. Но все равно — это земля, на которой я родился. Это — мир, который я люблю больше всего на свете. Это даже посадский, слободской мир, который я ненавижу лютой ненавистью, и который все-таки — мой мир, потому что с ним я могу разговаривать на одном языке. Это все равно тот клочок неба, большого неба, которое накрывает всю землю. Но это тот клочок неба, который — мой клочок. И поэтому единственная моя мечта — надежда, вера, счастье и удовлетворение — в том, что я все время буду возвращаться на эту землю.

А уж мертвый-то я вернусь в нее наверняка.

Публикация А.КРЫЛОВА.